

Одинокие вечера в Пересыпи

Главы из повести

I

С осени, когда все купальщики уедут, на всю зиму воцаряется по окрестности и в самой Пересыпи одиночество неба, пустых холмов и таких грустных, как будто уставших огородов с голыми деревьями. Тишина и глушь протекают словно издавека, из веков, ещё не тронутых цивилизацией. Море на зиму уединяется, отступает в сиротство, в родство с мёрзнущими чайками и тёмным таинством своей утробы. Ещё прелестней обольщает глушь, когда краснодарский автобус, миновав темрюкские базарные арки, вывески ларьков, гостиницу, обрывается с узкого моста над Кубанью в камыши и болотца и режет сумерки стрелками света: нет в душе разницы между мгновением какой-то зимы при летописце Никоне и нынешней. Как дивны эти первые ощущения: из другого вроде бы мира возвращаешься туда, где тебя не было всего три недели (а кажется - давным-давно гулял ты здесь по берегу и топил печку у матушки). Море холодное, улетели мои осенние чайки. Да, вчера я гулял здесь, и в городе забыл об этом.

С высоты от маяка серпом гнётся морской берег, шоссейная тропинка падает к камышам и маслинам и ведёт вдаль к холму Пересыпи, почти всегда закутанной солнечным дымом. Мне всегда кажется, что милее нет места на земле и нигде в такой тишине и уютности никто не живёт. За Пересыпью, под горою Блювакой, расплзается в три конца Ахтанизовская, дальше - Сенная, Тамань, а в правую сторону - коса Чушка. Господи, какую скорбь красоты и истории ты мне даровал!

Летом ли осенью я спускаюсь с кручи от маяка и иду у кромки воды; размером гомеровского стиха накатываются волны в песок. Родная чистая стихия ласкает мою душу, я счастлив, я первобытно растворяюсь в божьей природе и молю, чтобы моё чувство не перебил какой-нибудь встречный. Ракушки хрустят под моими ногами. А вот тёплым пухом лежит, ещё дышит свежее перо чайки. Я поднимаю его и, словно бритвой, провожу по щеке. Таких перьев у меня в хате много. На ракушечном холмике белеет вылощенная водою частичка позвоночника. Дельфин? Как легка, незаметна всему миру их смерть! Ни причитаний, ни обрядов, ни воспоминаний. В песке, в крошечке ракушек распадается память о них и покрывается жестокою, как будто беспечальною, справедливостью круговорота. В старость и забвение уходит всё. Ах, как бы долго ещё идти вдоль берега и не прощаться!

Уже Калабатку, запущенную и брошенную после стихии 69-го года, застроили дачами, понаставили вагончики и у гирла перекинули через канавы мостики. У гирла я поздней осенью подбираю перья, здесь чайки густо покрывают песчаный пляж, взлетают, выдёргивают из воды рыбку. Стук моей палки сгоняет их с места, и я там и тут с трепетом наклоняюсь и беру перья.

У гирла я вспоминаю прошлый год, позапрошлый. Иногда я отсюда пишу, наговариваю письма, слова улетают на взгорье, к Темрюку, дальше, через степь, в города и веси России. В те минуты герои мои не знают, что мгновение соединило нас близостью и роковым случаем нашего пребывания на земле, что я тоскую без них и посвящаю их в свои тайны. Тайная близость в

одиночестве - самая святая и тонкая. Когда пишете письма, представьте хотя бы чуть-чуть, под каким потолком будут читать вас в неведомый день. Душа летит так свободно, поистине чайкой висит в морской пустыне и чувствует ветер, небесный свет и блаженную бескрайнюю пустоту.

Уже на западе большое красное солнце приседает на кручу и спинкой светит Крыму. Там Керчь, Феодосия, Коктебель. Я проснулся на заре, до полудня был целый век, я управился с дворовым хозяйством, постучал на машинке, перечитал статьи князя Вяземского о грибоедовской Москве; впереди ещё, до потёмок, было много часов (целая жизнь). Нигде мой день не протягивается такой длинной рекой, как в Пересыпи. Всех вспомнишь и всем пошлешь устную весточку. Воображение моё разгорается, я вызываю к себе всех по очереди и болтаю с ними, играюсь, и всегда это заканчивается тоской: я один. Мне хочется поскорее затянуться дымком сигареты. Я иду и покупаю в магазине «Золотой пляж». Ого! Эти крымские сигареты, курортные, на нашем берегу никогда не продавали, хотя Керчь близко, за проливом, видна с косы Чушки, с горы Горелой и из Тамани.

Каждый год я бросал курить в апреле, накануне поездки в Коктебель. Храбро терпел на катере, в Керчи, на станции. Семь колодезей, а уже на автостанции в Феодосии, покупая газеты, хватал и пачку «Золотого пляжа». Уговаривал себя на всякий случай: я ведь уже не курю. Но как только за городом сворачивали с симферопольского шоссе к обвалившейся татарской мечети, я в предчувствии трех знакомых вершин сдирал с пачки тонкую шкурку и выдёргивал сигаретку: ради встречи с киммерийским берегом можно!

Коктебель! - такое это было славное время, что после разрухи и разделения коренных земель тяжело произносить это название! Как же попали сигареты «Золотой пляж» в наш магазинчик? «Ну что теперь осталось! - стонет моя душа. - Пришли последние времена. Не будет больше нашего рая, хоть раем он нам никогда не казался. Но не будет той нашей жизни, молодой, ещё беспечной и ровной, дай надёжной всё-таки...». Там, в Крыму, скрылся сейчас и осколок солнца.

Всё повторялось каждую весну. И рассвет на автобусной остановке в Пересыпи, и порт, и катер «Аргус», и гора над Керчью, и этот весенний дождик. Так же подскакивал в Феодосии частник, стрелял вопросом: «За пятёрку поедешь?». Некогда татарская долина нежно радовала прохладным покоем, дорога спускалась к подножию гор, каменной волной перекрывавших море на западе. На последней высоте невольно сверкнёшь взглядом вкось, где почти под небом лежит присыпанный камнями поэт Волошин, и на Лягушачью бухту. Вот и магазин с бутылками новосветского шампанского, корпуса и наши ворота. Друзья только что говорили обо мне, и я тут как тут. Да не пустой, а с матушкиными пирожками, редиской и двумя баллонами вина в портфеле. Кто там явился нынче из прошлогодних знакомцев? Всё те же. Кабы заранее знать, что это минует навсегда. Украдут у нас ласку морскую вожди пятнистые. Буду я один-одинёшенек дремать в Пересыпи воспоминаниями о прогулках по набережной накануне отъезда.

- Как жалко, что ты уезжаешь! Что такое? Почему?! Бросаешь нас. Без тебя скучно будет. Что такое? Напоследок сыграем в шахматы на шампанское. Играли и пели старые романсы.

- А Вася Аксёнов впервые пропел мне песню Вертинского «Так скажите, зачем и кому это нужно ...». И как-то потом говорит мне: «Неужели тебя может волновать Кремль». Мы ехали, и я ему сказал: «Посмотри, как хорош Кремль на закате!». Он возмутился: «Неужели тебя это может волновать?». Уехал в Америку, а мы здесь. Америка не стоит мессы. Останься с нами ещё на пять дней. Ну что это такое? Безобразие. Будешь жалеть.

Разве я знал? Разве заглядывал я вперёд, в свои нынешние одинокие вечера?

День догорает, я чувствую: сейчас приду во двор, спущусь в погреб и налью в кувшин вина. Душа моя станет слабой, песенной, отчаяние приведёт ко мне всех моих друзей, я буду в одиночестве провозглашать тосты за них, за Россию-матушку, в разговор наш дружными братьями вплетутся Пушкин, Державин, Бунин, Зайцев, Шолохов и гладковолосая Смирнова-Россет, и я отвалюсь на спину на диване и долго буду ещё разговаривать, и звать тени мёртвые и живые... и после сказки выйду в огород, половлю взглядом гору Бориса и Глеба и другую плоскую горушечку, что за лиманом, - она каждое утро дарит меня своим видом.

«Записки Смирновой-Россет» - шедевр дамской болтовни. Она со своим замаскированным любовником отвлекает меня от завистливой тоски, но ненадолго. Они словно стоят за моими плечами, и я услышу их. «Киса, - говорит Смирнова Киселёву, - я знакома с вами всего три дня, а мне кажется, что целые века». – «И у меня такое же чувство». Не повторяла ли вчера точь-в-точь эти слова какая-нибудь пересыпская парочка? Темнеет. Как хочется в Москву! Войти в номер гостиницы «Россия» и позвонить: «Я приехал! Послушать, как ты пил пиво с канцлером Колем в Бонне!». Темнеет, и пора идти в сарай за дровами. «Что ж ты мой дорогой, прозябающий? - скажу я сам себе. - Как ты живёшь?!» Ночью выйду во двор, звёзды пшеницей сыплются в глаза, сад молчит, и такая тревога! - скоро я потеряю Пересыпь. Всё старше матушка, всё грустнее дни. Ободрала меня судьба... Топлю печку, разогреваю суп, пью вино, иногда злюсь. Возьму какой-нибудь журнал, а та-ам... Там чьи-нибудь воспоминания, откровения. Одни умерли, другие далеко. Я бы послушал их, да они далеко. Уже темно, буду один, и завтра буду один, и послезавтра...

«А зря ты не пишешь мне» - говорю я ночью, лёжа во тьме боком к стенке, тому, кто когда-то больше других просил не забывать его. Весной и осенью уговаривал меня: «Приезжай, милый, в Коктебель хоть на три дня. А не приедешь - помру, ей-богу, помру». Не пишешь, забыл меня. После Иерусалима и Афин я тебя не видел два года. Ну, если русский человек не чувствует, не понимает, как ждут с болотца за огородом хотя бы двух строк о бессоннице, то что с нами будет дальше? Не говори мне, когда я в 2025 году приеду уже в американскую Москву, - «ах, где-то завалился листок, я двадцать или тридцать лет назад, как раз перед Страшным судом, начинал писать к тебе». Пиши сейчас. Перечитываю твои письма, и почти все они из Коктебеля. Есть ещё чувство на воспоминание об этом; глядишь, и оно пройдёт. И оно проходит уже в это мгновение - нету желания писать и умножать разговоры издали, как прежде. Нету прежней наивности, ничего не жду, перестал я в пятом часу вечера жить минутой, когда собака залает на почтальоншу.

Сейчас такая жизнь - лучше ни на кого не надеяться. Скорее звезда упадёт с неба на крышу хаты, чудом уцелеет к заморозкам груша на ветке, нежели товарищ, игравший с тобой в канасту в беспечные годы, заботливо спросит на листочке: «Ну как поживаешь, милостивый государь, на ракушечном берегу?».

Раньше я вовсю играл, шутил, придумывал что-нибудь весёлое, хотелось уморить суетную московскую минутку друзей какой-нибудь забавой, намёком на прошлые пиршества, подразнить их. Обедаешь и разговариваешь с кем-то, он там и не догадывается. Чаще всего пускаешь озорное быстрое сочиненьице тому, кто любит выпить и закусить. Если графин вина, говорю вдаль, невинно обменять у соседа на большой кусок сала, у продавщицы купить судачка или толстолобика, если толстолобика в консервной баночке или селёдки отхватить без очереди в Темрюке, а в станице у директора совхоза

запастись растительным маслом, если потом в сарайчике отгрести кочан капусты, штуку красной свеклы, из подвала принести виноградного соку и банку смальца, поджарить картошечки и расколоть на сковородку пару яичек из своего курятника, да к Новому году выкипятить из свиной головы и телячьих ножек жир для холодца, да вдруг обнаружить внизу шкафа для книг настоящую на грецком орехе водочку, то можно на мгновение забыть о высоком назначении литературы и запеть песню комсомольцев 50-х годов: «Едем мы, друзья, в дальние края!». И сам улыбался, и, кажется, улыбались мои друзья.

А теперь? В магазине я покупаю только хлеб и спички. «Переезжай в Москву! - звал когда-то друг-златоуст, которого за громкие речи и тосты везде готовы были кормить и поить и днем, и ночью. - Тогда я перестану выпивать, а ты перестанешь мучиться от болотных испарений и южной скуки. Ей-ей!».

«Когда же мы встретимся? Давай двадцатого в Орле. И будем гулять по Орлу, съездим к Тургеневу и к Ермолову. А потом поскачем на пару деньков в Москву».

«Я с утра (как в детстве) встал с мыслью: «А что такое случилось хорошее?». Да ведь твоё письмо. Твои письма - всегда радость».

И где он нынче? Пропал. На все мои призывы молчит. Москва нынче - совсем особый мир, другая страна. Куда скрылись все мои друзья? И где Коктебель, чей он?

Никто не пишет, и я никуда не езжу. Позвоню в городе знакомым - и как хлыстом:

- Он в Париже...

- Она на два месяца улетела в Америку...

- Знаете, ещё не вернулся из Англии... Родная земля никого не греет?

В Пересыпи я живу отшельником. Целое событие для меня, если выезжаю в станицу (четыре версты) или кто-то появится в моём дворе. Ведь только в селе ещё можно просидеть несколько вечеров без света и почувствовать всю прелесть и неудобство старых российских веков. В городе после обеда меня что-то выталкивает на улицу.

Если кто думает, что ко мне заходят учителя, пристают темрюкские журналисты, то он ошибается. Ничуть! За двадцать лет меня мало кто беспокоил. Начальству вообще не о чем со мной разговаривать. Меня никуда не приглашают. Наверное, я человек неинтересный, за вечер не могу распить три бутылки коньяка. А без пьянки какой нынче разговор? Писатель в селе - явление совершенно лишнее. А многие завидуют мне: счастливый, сидишь в тишине.

Зима! Как и тридцать лет назад, в долине под Варениковской, сижу вечером у тускнеющего окна, газет и писем уже не будет, и про чужую жизнь читать к ночи надоест, и тоска вперемежку с неясной обидой (на кого-то за что-то) успокоится мыслью, что хорошо оказаться вдруг всеми забытым, посердиться на друзей, на власть, поблагодарить мороз за то, что он, как в сибирские метели, усиливает одиночество и отдаляет встречи; всё сумеречнее окна чужих домов и белее снег на крышах, а мир расширяется летописью времён.

Вдруг вспомнится Пушкин.

В Пересыпи мне легче представить, как Пушкин жил в Болдино, в Михайловском, как простирались его мечты за окрестности и кочевали над полями, лелеяли шум залов и гостиных. Автобусы, телефон, телевизор не перекрывают моих ощущений. Ночная глушь, пустые холмы за лиманом, безлюдная дорога до Тамани, молчание воды и сухого камыша по-прежнему омывают мою душу кротостью. Бог возвращает нам всё, едва мы покидаем свалку цивилизации.

Как хорошо порою не ложиться спать вовремя и во втором часу ночи, перебирая в шкафу книги, двумя пальцами вынуть из тесноты что-то знакомое или нечитанное и с волнением, благодарностью воскресить перебитую суетой и апатией нежность к искусству, к литературе, к биографиям великих мастеров и стремглав вспомнить лучшие часы лучших дней в молодости, когда многое ещё было закрыто для тебя печатями, и ты летел в счастливых небесах при чтении, о Боже, каких строк, каких страниц! Так и нынче: матушка каждые десять минут подходила ко мне с просьбой затянуть нитку в иголку, и я сердился: она прерывала меня в мгновения, когда я читал то воспоминание Фета о Тютчеве, то письма Толстого о нём же. Вот уж наступает отчаянье сроков земных, а не отнимается перед сном ли, на рассвете ли, в дороге или в минуты чтения младенческая робость моя. Сколько пишу, столько и стою на коленях перед классиками.

Залаяла собака. Я выхожу во двор. Ночью всякий раз думаю об одном и том же. Сколько ещё? Сколько эта хата и двор, камыши за огородом, проулки и окошки будут встречать меня? Всё старее матушка, всё грустнее дни. Господи, продли моё сельское счастье, удержи мгновения.

Недавно видел во сне, будто в хате уже никого нет, и я не знаю, как жить дальше.

Так сколько же мне лет? Помню, что и тридцать, и сорок лет отмечал так, будто ничего не произошло. В конце апреля вскроют на вечере таинственный конверт и объявят мои годы. Сам же я забываю, когда родился. Живу и живу. Но всё-таки порою грустно чувствую, как одна весна сменяет другую и подрастают в огороде деревья. Я подхожу к рассаднику я вспоминаю, что обгораживали мы его свежими досками пять лет назад. А смородина подмёрзла позже. Скоро опять весна. Уеду - огород будет ещё голый, и долго меня нет, а вернусь - всё уже взойдёт. И радость смешается с тоненьким звуком горести: о, как летят дни, и природа не считается с тревогой человеческой! Опять пробуждение, пышность ласкового лета. Земля ждёт дождя, а его нет и нет; срываются с неба сиротливые капли и гаснут в песке (хоть считай); листья на фундуке, грецком орехе и яблоньке вздрогнут и замрут. Всё рвётся к жизни. Вдоль забора, возле картошки, разводит листочки календула; укропчик пророс, надо уберечь его от сорняка. Отцвели миндаль, вишня, я подрезал в марте веточки; хорошо пошла вверх айва, надо поставить опору, косые ветки клонятся вниз; уже прихватило пятнами орех; никак не наберёт силу помидорная рассада; скоро запахнет мята; смородина который год меня огорчает, а виноград не прикрыл ещё наш двор. Оплошал я, не посадил лекарственных трав, а места много. Десять раз на день выйду я в огород и наклонюсь к грядке. Вот мои знакомые, я слежу за их молодостью и застаю их старость. Они порой подсказывают строчки. Я тогда бегу в хату и записываю. Но чаще всего я разговариваю с кем-нибудь дальним, зову к себе Настеньку, и были случаи, когда я что-нибудь ей бормочу, потом оборачиваюсь, а она стоит у сарая и улыбается - приехала, кузинька! Теперь она уже мама и так скоро не вырвется в Пересыпь.

О Пересыпь, Пересыпь... За двадцать лет много побывало гостей в нашем дворе, но сибиряков я обидел. Как-то так получилось нелепо. Теперь никто не доедет. Пусть они простят меня. И выйду к

берегу, гляну на север, туда, где тихой Вдовой стоит церковь Николы в Устье, - не пришлёт мне больше из Пскова письма мой друг Скобельцын...

Но не всё же мне сиднем сидеть в Пересыпи, дорога всегда была для меня музыкой. Поехать куда-то... Как, когда?! В Пересыпи я писал роман о Екатеринодаре. Это особая история. Теперь вожу в портфеле туда-сюда палочки потоньше. Матушка была моложе, на душе светлее, жизнь вокруг безопасней. Дремучего негодяйства никто не ждал. В Корчеве (Керчи) не стояла свирепая таможня.

... И ещё много листов исписал бы я о днях и ночах в Пересыпи, но надо собираться в Краснодар. Засну я в четвёртом часу, накажу матушке разбудить в семь, и встану тяжёлым, разбитым, и поеду вдоль моря к маяку сам не свой. «Тебе надо – поезжай», - робко, покорно сказала мне матушка. И я всю дорогу повторяю её слова. Две недели я только и буду думать о том, как бы мне поскорее вернуться назад и тревожно постучать в дверь, крикнуть: «Мама, открой, это я!»

II

Пересыпь была когда-то почтовой станцией. Раз, два в неделю кто-то слышал как будто спускающийся с горы звук колокольчика! Тому, кто возил в Тамань и на кордоны депеши, важные и сердечные письма, казалось в немом просторном скиту, что всегда будет так, как в веках: чайки над водой, густой камыш близ лимана, все далеко-далеко, ты один на свете. Какой нынче день, какое число - зачем знать? Всё молчаливо, непрерывно живёт вокруг. Без нас зачинались и попевали сроки земные, и мы, как зимние семена, безропотно ждали небесного тепла, благодати своего появления. И дали росточек, взошли и проколосились под солнышком, на ветру, под дождичком и вдруг стали бояться исчезнуть, а оттого, что нас тысячи лет не было, нам почему-то не страшно.

Я облюбывал Пересыпь невзначай (но так ли?), когда в автобусе проезжал тут по железному мосту через гирло на Тамань, После скучной степной дороги душа вдруг взлетела в восторге: внизу сияющая гладкая обитель, отрезанная песчаной полосой, широкая тропа к садам на горизонте! То Пересыпь. Спасибо Господу, что успел прислать меня в Пересыпь тихую-тихую, никем не знаемую, она скоро затолчётся пришлыми хищниками. Помню, до стихии (наводнения и пыльных бурь) протягивалась от маяка по краешку берега до самого гирла Калабатка. Дети во сне слышали мерный приток волн, по ракушечному песку ходили в школу, обедали у окошка с видом на морскую равнину. Калабатка умрёт, бульдозеры сравнивают холмы. Зачем гадать, как зарастали селения шумеров или греков? Вот так же. За нашим огородом текла после войны речка-протока, и там, где я весной бросаю в рядки картошку, ловили в разлив красную рыбу. В войну немцы стояли в нашем дворе. С крыши, когда залезу белить трубу или сметать веником орехи, виден мне мелкий лиман, за ним прячется станица Старотитаровская. При царе с того берега отчаливали пароходики к Темрюку, где в жару песчаные улицы лежали белыми. Всё меняется. Во время высоких вод и ветров дорога за темрюкским мостом заливалась на семь вёрст, и нынче непонятно, как ехал в аллее дремучих камышей поэт Лермонтов. Наверное, он сворачивал к Дубовому рынку (лесному взгорью) и спускался к Сенной с холма, минуя нашу Пересыпь.

«От почтовой станции Пересыпской до Ахтанизовского укрепления на протяжении шести вёрст простирается узкая полоска земли, покрытая сыпучим песком, поросшая сладким корнем...», -

выписывал я строчки из старого журнала в дождливом Ленинграде и тут же с закрытыми глазами шёл по этой «узкой полоске» в Ахтанизовскую к горе Блюваке.

За нашей почтой главная дорога разгибается рогаткой: одна веточка на Крым, другая в станицу Ахтанизовскую. В разные времена года (и всегда по утрам) пешочком отмерял четыре версты. Очень тихая одинокая станица! И утро занимается в ней как-то первобытно, будто в начале столетия. Завидуйте мне: я иду на рассвете вблизи горы Бориса и Глеба. Ещё обрызганы росой огороды. Вдоль заборов сторожами стоят вишни, орех, миндаль, яблоньки. Гора Блювака смотрит своей острой серебристой вершиной на всякую крышу. Двери в магазины открыты, и в хозяйственных, канцелярском никого нет. Зато у хлебного сидят и стоят с сумками женщины, а мужики курят в сторонке. Каждый раз думаешь: ещё проще, беднее было после войны. Все друг друга знают, ничего не скроешь. И базарчик какой-то другой, несуетный, с одним прилавком под навесом; и кладбище напротив хаток, за огородами. С горы Бориса и Глеба немой застывшей жалобой слетает к моей душе пустота бывшего храма Артемиды и православной часовни. Я туда ни разу не поднимался, земля там проваливается, и, наверное, много змей. Чувством ловлю, что именно на горах как-то библейски спокойно напоминают о себе допотопные загадочные века. Отчего мне в станице так горько и я тотчас спешу в Пересыпь к матери? Да оттого, что у меня там нету родни, давнишних друзей, нет воспоминаний о детстве. Я скитаюсь в чужом углу. Рано утром обглядел все дворы и окошки какой-то человек и скрылся куда-то. Это был я.

Дорога по станице и за нею виляет, словно речка. Пересыпь рядом, но идёшь долго, и много раз оглянешься на холмистый покой; моря не видно, но в русско-турецкую войну французская эскадра била ядрами по огородам. История забыта. Казаки перевелись. Моя матушка не слыхала про древних греков, турок и запорожцев. Зачем они ей? Много в Пересыпи, бывшей почтовой станции, стало таких пришельцев, как мы с матерью.

Бесконечно загружая себя дневными хлопотами во дворе, в огороде, забывая числа, я только к ночи опомнюсь, как я однообразно, тихо живу и уже не горячусь уехать куда-нибудь далеко. Уже никуда не уедешь! Никто уже и не зовёт, потому что знает, какое это разорение: дорога, гостиница, пропитание. Молчаливая дальняя Россия, слёзно взывающая к своим аллеям и заросшим прудам, к колодцам и святым пещерам, давала мне всегда уроки радостного родства. Помню, в Муранове в доме Боратынского и Тютчева, разрушенном лет десять назад после смерти правнука Фёдора Ивановича, в коридорах и залах с портретами увидел в шкафах тома писем Ивана Аксакова и заныл, что не смогу почитать их тотчас, и эта их недоступность перевелась в мгновение ока на всё-всё, что было там, в семейных пенатах. Надо было торопиться оплести душевным вниманием все закоулки русского благочестия. Никого нет ближе славянофилов, и никто не напишет из нас так о Тютчеве, как Иван Аксаков. Когда недостаёт мне чистой воды, беру я томик и перелистываю страницы, вылавливаю подчёркнутые слова и строчки: «...но преимущество прелести, - прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, - вечно пребудет за любыми стихами Пушкина...».

Куда, в какие Палестины направился бы я сейчас? Ну, прежде всего, взлетел бы на железной птице и приземлился в холодной стороне, где под двумя мостами тяжело, незаметно течёт наша Обь, и жил бы там среди постаревших школьных друзей целый месяц да наведался в глухие бревенчатые деревни. В дожди ли, в знаменитые сибирские «бураны какой отчаянный путник проберётся туда, в дикую замкнутость, и неужели, думаю я часто, там кто-то ещё просыпается, доит коров, учит детишек? После какой-никакой Цивилизации опять политики ввергли крестьян в чалдонское

бытование. Если занесутся к сугробам каким-нибудь ветром цветные газетки с фотографиями гуляющих московских господ, что почувствует чья-то юная душа? Я гляжу в широкое дуло телевизора и на мгновение забрасываю себя в избу с морозными узорами на окнах, и вот это там скачет передо мной на «поле чудес» (в салоне корабля в Средиземном море) и раздаёт призывы воровских фирм усатый шут. Бесы приглашают меня поваляться на песочке в Турции и на Кипре, но мне трудно стронуться в путешествие и по родной земле. Ждал ли я такого наказания для своей души? Сколько бы уж раз заключил я в объятия на берегу Тобола своего тревожного друга, как-то давным-давно провожавшего меня в вечернюю метель к поезду. Э-эх, ничего не ценили, не спешили вместе выкапывать в бору корень валерьянки, пить в туче комаров чай на крылечке или возвращаться ночным полем в деревню. Ничего уже с нами не будет такого никогда? Русская натура не предвидит беды. Сижу один. Кто и когда свозит меня к Вяжицкому монастырю под Новгородом? Когда выпью домашнего вина, долго, как птица в клетке, бьюсь в комнате по углам, сам с собой разговариваю, и в далёкую сторону тянут меня мысли. Всё вижу амбарный сруб в Тригорском. Там было бы мне и пожить годика два. Переплетённые журнальные листики есть у меня, я их часто шевелю пальцами. «С такими-то воспоминаниями подъезжали мы к Тригорскому, чтобы посмотреть на месте, что же и в каком виде осталось здесь от прежнего». Я выхожу на крыльцо и нежно смотрю на север. Над воротами обычно висит Большая Медведица, но сейчас там пустая темнота. Пушкинские барышни потеряли свои имена навсегда, и вокруг Тригорского, Голубова бабы новых русских господ будут звонить из каменных особняков в Америку. Ещё, думаю я в хате, не положил я цветы в Париже на могилы стяжателей белой Руси, не быть мне там... Тамань - мой Париж... И тут матушка толкает меня голоском: «Ты топор занёс в кладовку? А где ключ от курятника?».

Куда шли по степи поздним вечером две женщины в нарядных платьях? Солнце уже село за дальний керченский холм. За буграми Суворовского редута уныло белел над заливом скромный памятник. Дорога, казалось, вводила в счастливую Аркадию. После калёного зноя медленно опадала прохлада, уже хоть и слабенько, но сквозило к дороге сыростью залива, вдоль которого разбрелись в цепочку коровы. От этого вечно нелюдимого залива, пологих гор за дорогой, окрестного смирения перед ночью втекала в душу лёгкая покорность. Вокруг Тамани блеснул ещё один день, земной жизни, и кому-то будет жаль дни, соткавшиеся в длинные годы.

Куда же неторопливо пошли на ночь вдаль женщины? За какой ласковой мечтою или по надобности житейской? Они доли с песенной задумчивостью, и это было так чудесно, что затрепетал: надо записать! И на другой день, вернувшись к матери в Пересыпь, лёг после ужина на постель, раскрыл на коленях тетрадку и ...заснул.

Они шли долго, куда-то на восток, и увидел я их уже далеко за Уралом, в Барабинской степи; от Барабинска они свернули на север, и одна, рыженькая, оглянувшись, помахала рукой (будто мне) и растаяла вмиг, а вторая, высокая, с душистыми волосами, моя землячка, зачем-то пошла в ту деревеньку, которую я описал тридцать лет назад в повести «Чадонки», и, смутно надеясь на ласковую тайну, но и робея, повлёкся за ней. Даль была несусветная, кругом жёсткие поля, без лесочков и болотцев, и дико, грозно росло с горизонта небо. Давно не видел я этого. Как шли одиноко в Доле от Тамани женщины, так теперь мы одиноко удалялись и удалялись к деревеньке. Я отставал. Вдруг женская фигурка пропала, и тотчас нарисовалась околица, следом Речка с глубокими краями, и встали по улице справа избы с высокими глухими заборами. Сибирь-матушка, чалдонская ветошь. Откуда-то ветерком донесли слова, говорок: «Давай бегом повенчаемся»; «Васька с ней давно марушит, а жену не бросает», и от пыльного окна, из гулкой избы, будто кто-то прошептал: «И родилась, и прожила в

этой деревне, и остарела здесь». О чудо, я пробрался к своим палестинам. И хоть не спал я в детстве по-над запечьем на голбце, не плёл городьбу из тала, не выбирался из согры на лошади, носил пимы, а не отопки, насиделся в городе до зрелых дней, а всё же верхирменские колхозники приезжали в кошёвках к нам, сбрасывали овчинные шубы, балабонили допоздна, и я привык к жизни чалдонской. Но где же всё? Деревенька была насквозь пуста, и собаки не лаяли. Где-то стоял раньше амбарный клуб, когда-то там танцевали танго и фокстрот мои герои, все были молоденькими и в то допотопное по быту и претензиям время радёхоньки были самому малому удовольствию, жили по старинке. Я часто на юге спрашивал небо: там ли они еще? И вот не скрипят ворота, нигде не мелькнёт платок хозяйки. Я уже не разобрался, по чьему следу пришёл сюда и зачем, а только напрягся вопросом: где они? Улица к лесу молчала. На приступках правления колхоза пестрели гнилые окурки. Тускло светило солнце за берёзовым рядом. Опрокинутый на колышко кувшин маслено чернел доньшком. Где-то в небесах чиркнул белой полоской самолёт, а с околицы послышалась любимая когда-то мелодия: «Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая...» Забытые нежности! С этой порхающей нежностью уходили из клуба по улице чалдонки после танцев, и я провожал их взглядом (вчера ли, нынче), не ведая будущего. С чалдонками ушла и она, моя землячка, моя несведённая спутница; и оглянувшись, и глазасто обворожила меня тайным приветом, пообещала эту песенную нежность. Я вдруг оказался в райцентре, на пороге избы с косыми дверями, потом в комнате. За столом у пишущей машинки сидела она и читала мою повесть «Чалдонки». Она была в том платье, что и на дороге под Таманью.

- Как быстро вы обернулись! Тысячи километров - тут.

- Я барабинская! - выкрикнула она с восторгом и растянула свои чудные губы. Я не посмел поцеловать их, приткнулся к щеке.

- Я однажды ночевал в Барабинске. Какая-то двухэтажная гостиница, мужики из колхозов, я в два часа ночи выбегал покурить на улицу. Вы спали. Были маленькой. Вас не смущает, что вы намного моложе меня?

Она покосила головой и промолчала, не желая меня обидеть или вспугнуть.

- Вы уже не пишете мне, - сказала.

- Лучше я опишу вас, ну в какой-нибудь повести, хотя я ничего про вас не знаю. У вас игривые глаза. Глазищи. И ещё меня восхищало, как вы по-детски сидели на кровати: подушка за спиной у стенки, ноги вытянули. Забавлялись своей властью надо мной?

- А вот и нет. Вы шли за мной потому так далеко от Тамани что я о вас думала.

- Что же эта головка думала обо мне?

- Не скажу. Вы перестали писать мне.

- Можно написать рассказ, как солидный мужчина обожает молоденькое существо и не подступает к нему ни на шаг, содрогаясь от стыда, что покорение этого чуда будет покушением пожилого тщеславия на красоту и молодость, и больше ничего. Не вы меня догоняли, а я вас.

- Вы догоняли что-то прежнее, что было до меня.

- Я благодарен вам. Я давно здесь не был, а вы мне всё воскресили. Только почему никого нет в деревеньке?

- Вы искали то, что исчезло, как возраст.

- Наверное. Я никогда не вернусь в Сибирь, всё потеряно навсегда. Но в это мгновение (с вашей помощью) всё стало таким, каким было.

- Потому, что во сне. - А я вам снился?

Она снова покосила головкой и чуть улыбнулась.

- Я, наверное, ищу в ваших глазах сочувствия своей жизни. Куда вы меня ещё поведёте? К песчаным дюнам?

Она протянула руку ко мне (о чём я мечтал), и я, касаясь её лёгких лепестковых волос, запел: «Ещё косою острою в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена...» Песня потекла над барабинской степью, над озером Чаны, над станциями (Татарская, Тогучин, Черепаново) и звуками втянула нас к реке Оби в город, такой большой, что не видно было его окраин. И конца не было песне, она так и разливалась водою повсюду, сколько не бродили мы по мосту, по проспекту на склоне и вокруг оперного театра с куполом под черепаший панцирь. О, как давно, как давно я вышел на дорогу и утомился в пути и не верю, что я уже там, где надо было жить всегда. «Я скоро напишу об этом, - сказал я землячке моей. - Но без вас, без вас вернусь я сюда. Вы зачарованы югом, и в Анапе любите смотреть из номера на дюны».

И она не обиделась, а пожалела меня нежной улыбкой.

- Вы не грустите, - сказала она.

- Что ж. Бог дал мне время состариться и прийти сюда вспоминать. Всё больше люблю свою молодость. И вот уж действительно читаю её, как книгу. Хочу быть таким же. Наивным, робким.

- Вы отдаёте свою грусть мне, а сами остаётесь с радостью своей.

- Простите, я не должен так откровенничать, но вот сижу в Пересыпи: письма, скорбные новости (отпевание в храме Христа Спасителя писателя Солоухина), разорение нашей жизни, глушь, старость матери - всё как-то слезами растекается по душе моей... Любуясь её темными глазами и желая вовлечь её в свой мир (так, чтобы вся она приникла ко мне), я стал рассказывать ей о чудесном, спокойном времени, которым украшена моя юность, дорожках, водивших меня из школы к нашей западной полудеревенской улице, о чём-то ещё таком, что стало для меня теперь волшебным плачем. Она слушала, только слушала, нисколько не переживая мне, но даруя блеск своих глаз. А мне всё равно нравилось пресмыкать своё чувство перед ней, выросшей на пыльной барабинской улице в офицерской семье и рано уехавшей в тёплые края. Мы пошли на запад по нашей улице, пересекавшей склон поперек, и я всё отставал от неё и наконец примёрз на краю, когда она уже подступала к Анапе. Был дождливый осенний день, тучи угрозой висели над водой, краешки волн у берега трепыхали радостной пеной. Недалеко от окна поднимались дюны с кустарником. Я всё тянул к ней неуверенную руку, она сидела на постели, подложив к стенке маленькую подушку и по-девичьи вытянув ноги. Слышалась знаменитая музыка из кинофильма, но уже не та, что в деревеньке: и в тени занавески кто-

то заменял меня. В комнате царило ожидание. Чего? Я проснулся, когда вдоль берега прошли две женщины в нарядных платьях.

Так куда же уходили из Тамани эти женщины? Видение это никогда не раскроется жизнью. Мгновение исчезло.

Утром повезли меня друзья в сторону Кизилташского лимана.

На холмах, в ложбинах, на ровных полях вдоль дорог, там, где никогда не пахали, не сеяли, зачем-то жгли траву. Всю зиму дул здесь ветер, зло бились волны, ни одна душа не приближалась к воде. У вымершего солёного озера толпились вагончики, белый песок по берегу был усеян гальками и мусором. От Тамани (там, где за горой Пыской смотрели с вышек пограничники) и до Анапы кривилась порубежная полоска чистой голубой стихии - это всё, что осталось с некоторого времени у России на юге. Ниже - керосиновая сизая муть и отбросы курортов. В тишине над полями и морем плакала по своей доле сама история, но человек как будто ничего не заметил.

«Спасайся, как можешь!» - втайне прокричали себе люди и среди бела дня ударились ломать, тащить, сбывать общее богатство. Опустели фермы, позакрывались склады, облезла краска на заводских воротах, помертвели коридоры контор.

И я развернул старинные карты с точками вековых могильников - курганов, следов цивилизации. Взглянул окрест - а где это? Где эти турецкие сады Семирамиды, водопроводы, колодцы? Зачем «удивлял народ строгою своей жизнью» преподобный Никон, и какой дьявол рассеял по ветру его иноческую славу, которая «протекала повсюду»? Безмолвствуя, неленостно служа Богу, разве варварам завещал он свой монастырь, разве мечталось, кому слышать через тысячу лет не ангельские песнопения, а распутный треск электрических дискотек на «острове Тмутараканском»?

Зелёным мохом порастает крыша музея. Зато базар на площади чуть тише стамбульского. Кому повезли цветные азиатские товары? На каком огороде выросли эти весёлые оборотистые женщины и парни? Кажется, в одночасье налетело с дальних земель чужое племя, и не то солнце светит на полукруглый горизонт с белыми хатками и садами.

Мог ли я подумать тридцать лет назад, каким приеду в Тамань после своего юбилея и везде увижу приметы разбитой России? Изменился и я. У сухого озера, на круче у раскопок, возле старой гостиницы я теперь с изумлением вспоминал себя прежнего: что за странное дитя умирало тогда в одних преданиях, чья душа меня выбрала и призывала молиться на всё вокруг? Слава Богу, что это было. Нынче сухо моё сердце. И как о чужом, погибшем, всеми забытом думаю я о своих путешествиях в Керчь, через пролив. В тёмную даль, почти такую же, какую разгадывал я когда-то, улетела моя молодость, вспугнулись и потухли годы. Помню, мне хотелось жить в Тамани всегда, всех знать и писать только о здешнем. Но не вышло. Я завидовал всем, кто шёл от пристани домой. Взобравшись на кручу, я любовался на мгновение сползающей к пучине моря головкой мыса. Войду в хату Царицыхи с куриным окошком и всякий раз летуче, безумно помечтаю переночевать в ней. Всё кончилось.

Никон, убегая гнева Изяслава, выбрал Тмутаракань, служившую убежищем для всякого рода изгнанников - и князей, и монахов...

Может, я тоже был изгнанником, только другим? Молитвенной тишиной славились вечера в Тамани. Край земли. Улочка как-то по-воровски кралась вверх к горе Пыске. А там уже на высоте будто подступали во тьме века, и скифский ветерок нёс в морскую пропасть свои непонятные дремучие вести. Кому достались святые невинные мгновения ночного молчания Тамани, тот благодарно поклонится ей.

Вечером в доме бывшего директора школы я выпил под водительством хозяйки два стакана вина и, откинувшись к спинке дивана, закрыв глаза, слушал чтение дневника Золотаренко. Где-то в станице Васюринской писал в прошлом веке в грязную зимнюю пору казак о мечте своей - проехаться верхом до Тамани. В хате с глиняными полами славная первобытно-простая душа разгоняла пером злючую зимнюю скуку: «Увижу ли я Тамань, так давно желанную? Немного рискую, что еду верхом и притом один».

- Но вот лучше почитай о мощах в Киево-Печерской лавре. Про мощи летописца Никона. У его мощей стрелка дозиметра поползла вниз на 50 микрорентген. В 1988 году на святых черепах выступило миро (маслянистая ароматная роса). Учёные взяли на пробу. Семьдесят три процента белка! Это может исходить только от живого человека. Тысячелетняя жизнь мумий длится не по воле человеческой. Ткани высыхают, но не гниют.

- Господи, Святый Боже, сохрани нетленной Тамань. И приведи чью-то благую душу на следы монастыря. Атеистам-археологам он никогда не откроется. Не уезжай из Тамани, она освящена Никоном.

А мы уедем из Пересыпи в город на всю зиму. Впервые надолго расстанемся с хатой. Как я боялся этого дня! Я понимал, что он уже стережёт нас. Но зачем он приспел?! Это уже приспела совсем другая жизнь. Не спасут и молитвы. Мышиная тишина будет владыкой в нашей хате.

Не в хате, а на шестом этаже больницы читал я «Другие берега» русского американца Набокова и взбесившиеся ложью газеты. «Заberi, ради Бога, Набокова, - сказал я жене, - принеси мне Сергея Тимофеевича Аксакова, второй том, там, кажется, его встреча с Державиным».

На одре болезни становишься кротким ребёнком, много спишь, в тумане колышется распятие всех твоих личных времён, слетаются к изголовью дорогие призраки, по-иному читаешь книги. Все эти суетные «взаимоотношения» в обществе убираются прочь, истлевают мгновенно, и торжествует, плачет, скорбит над тобой сама жизнь с её нечувствительными в алчном быту прощальными сроками. Наступают в твоей судьбе утра, когда толчком пробуждается нежная жалость к тому, что уже не вернётся, когда свежие ранние лучи в окне кажутся старее, чем прежде, а в сознании мгновенно, как звёзды на небе, далеко сверкнули лица, которых уже нет с нами; и укрывшись потемнее, прячешься с испугом в самом себе, вытягиваешься полежать ещё, помяться душой в этом отчаянье, уснуть и не помнить, что твоя жизнь укоротилась и стала опасней.

Зачем мне бездушный переродившийся барин Набоков? Мне нужен простой милый русский старик Аксаков. «Моё время прошло, - говорит Державин молодому Аксакову.

-Теперь ваше время».

Под Новгородом в Званке утешался в старости Державин прелестями сельской глуши. Хочу перечитать о Званке в романе Ходасевича о Державине и пишу записку жене: «Принеси роман

Ходасевича «Державин». Но книга эта в Пересыпи! На верхней полке в шкафу среди томов Вяземского, Диогена Паэртского, Пушкина и «Хожений» игумена Даниила. Когда я там буду? Хочется почитать как раз то, что обывателем зовётся скучным, - летописное; затворническое и законченное, как древний словарь. Долгим тягучим расставанием сияли в городе дни октября... Везде по дворам и скверам, по верхушкам высоких тополей, по хомутовским изгибам реки Кубани, в рощах и годах полях паутиной распустилась тишина, а далеко-далеко за Темрюкским мостом в райском спокойствии блестели под вечерним солнышком воды. Зачем я в городе?!

Никогда этот южный город не был так затолкан несметными вереницами странной публики и не ходило по его улице Красной столько наглых молодых бездельников с побритыми затылками, пустоглазых девиц, роскошно одетых деток богатых жуликов. Отчего так много народу и я никого не знаю? Что за нашествие завоевателей? Старинные фотографии и картинки обличают наше время степенной важностью и родословием - кажется, так серьёзно, обидчиво и неодобрительно смотрят на нас дамы, сановники, офицеры и Послушные дети. Никого похожего на них нету на улицах. Бежать отсюда!

Но страница нашей домашней летописи перевернулась по приговору самого времени. Вышла матушка с палочкой за ворота, перекрестилась, на прощание пошевелила слабой кистью, благословляя окошки не тосковать без неё, поцеловалась с соседкой и тронулась в машине в путь нежеланный. Двадцать лет ездила она только в Ахтанизовскую да в Темрюк, и какие станицы, хутора лежали за ними, она не знала. С правой стороны светило солнышко, степные уголья сонно оплакивали её чувства, всё было новым, чужим, странным...

Машина въехала в город с узкими улицами, свернула во двор пятиэтажного дома, где матушка появлялась всего три раза. Как быстро сменился мир! Утром видела она в саду деревянную бочку для воды; курочки с красавцем-петухом склёвывали в огороде с листьев хрена улиток, падали во дворе последние орехи, на крышке колодца стояло ведро. И ничего уже нет! Казённая квартира, телефон, комната с длинным зеркалом, окно с видом на какую-то каменную башню - зачем ей всё это? Она тут не осмелится стать хозяйкой и спать будет, как в поезде, откроет глаза и вздрогнет: может, уже её станция? На другой день она спросит меня: «Когда поедем туда? Настенька когда собирается?».

А через две недели Настенька привезла из Пересыпи голенькие куриные тушки и выложила на стол. Матушка коснулась их ножек, словно поздоровалась. Кажется, узнавала и хроменькую, и слепую, ведь кормила зерном столько лет, в чашечке водичку им ставила, травку рвала им, и теперь не могла долго глядеть на их обрубленные ножки и шейки. В Пересыпи не так бы их жалко было. Лежал красавец петух, как будто и после топора сердился и страдал. Эти немые, пойманные смертью птицы с пупырышками на жирной коже словно уносили куда-то в гибель и её жизнь... И вот конец ноября, но ещё тепло, и не вся листва сорвалась с вишни, айвы и яблонь. Ровный предвечерний свет целый день. Всегда чувствуешь, что нынче выходной: рано несут хлеб из магазина, соседи уехали на край посёлка к детям, а сбоку, по случаю выходного, перемывает кадушки, кастрюли и всякую посуду старушка. В нашем дворе тоже тихо и чисто. Я один. Не вытерпел, приехал на два дня почистить огород да стаскать в сарай всё то, что разбросано и забыто в саду при срочном материном отъезде.

Печаль поздней осени напускается на всё, что видно вокруг. Это печаль старости трав, листьев, холодеющего с каждым днём неба. Я иду в огород проведать местечки жизни моих немых знакомцев. Раньше других упали и умерли листья ореха. А на облепихе, винограде ещё «кое-кто»

дышит, тянет последний сок и упирается тлению, «кое-кто» завтра-послезавтра отогреет и неслышно слетит на землю. Каждый листочек кончает век в свой срок. Ещё растёт и сворачивает листы капуста, торчит красным пеньком свёкла. Жалкие одинокие листики фундука прозрачно желтеют у окошка хаты; подрос финик, я его поливал и берёг всё лето. Помидор лежит зелёный, в росе, а веточка, на которой он рос, и корешки, его поившие влагой, уже вырваны и брошены за забор в кучу. Календула такая сочная, словно впереди тепло и солнце, а не ветер и стужа; в апреле я бросал семена у забора. Везде следы и моей жизни. Взойдёт после зимы мята? Её я привёз из лесной станицы от Кости, и он сейчас скучает где-то во дворе в Ейске и не знает, что жду от него письма и мечтаю написать повесть, как мы жили в студенческом вертепе. Вишни бесплодные надо срубить! Миндаль оголился, слива разогнулась во все стороны, маленький орешек вытянулся в подростка. Масленичные кустики (подобие греческих оливок) я выкапывал у моста и думал при этом, что подрастут они и закроют огород снизу к моей старости; и так, с каждым новым саженцем я высчитывал: а сколько мне будет в пору их зрелости?

Две трубы над двором всю зиму будут холодными. Когда наступает минута закрывать двери и громко щёлкать задвижкой в воротцах, оглядываться на окна, на сад и уже унылый двор, искрами воскресает вся двадцатилетняя жизнь на улице Чапаева, 5.

Что ж, не горюй, моя Званка, дождись весны, и связка ключей ещё встряхнётся и звякнет в моих руках.

Но моя библиотека! В заветных чужих книгах присмирела моя душа. Подчёркнутые моей рукой чужие слова выявляют эхо моей жизни, страстей и перемен, согласия и недовольства. Откроешь дверцу шкафа - и будто здороваешься с самим собой. «Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества» - да это же и я, растерянный после школы, такой ещё хрупкий и серебристый мальчик, не написавший потом об этом ни слова! Под семью печатями до одного мгновения бездыханна душа Пушкина, но развернёшь страницу писем - и она опять парит, делится с тобой тайнами, которые мои знакомые пугливо замыкают ключом. В любую минуту (когда захочу) Пушкин поведёт меня к барышне-крестьянке и посадит у прялки рядом с нянюшкой Ариной Родионовной. «Предания святых отец» - в особом уголку. И древние греки, и римляне, византийцы терпеливо подождут прикосновения моих пальцев. Чернильные полоски выделяют строки в «Словаре XI-XVII вв.»: «Чародеи и ересники у царя счастье отнимают и мудрость царскую». А вверху на полях моей рукой: «В Пересыпи с 6 июня 87 с Настей». Двенадцать лет ей было, и мы ходили по берегу к ржавому кораблю. И есть книги с любимым шрифтом, вот один томик «Войны и мира», купленный на Курском вокзале. «Князь Андрей безвылазно прожил два года в деревне». Это про князя, а греет, я тоже подолгу скучаю вдаль. В каждую книгу пылинкой залетело моё бытие. Русские американские журналы тотчас выхватывают моё влечение к белым друзьям в Сан-Франциско. И я уже сижу там с ними в счастья и бедствия сочувствия их верности заветам отцов! Что там ещё на моих полках? «Народная монархия» И. Солоневича, «Царствование Николая II» С. Ольденбурга, «Россия перед вторым пришествием», воспоминания княгини З. Шаховской и Бунин в разных изданиях, и двухтомный С. Нилус - всё такое русское, редкостное, как... «жабы лавицы». А внизу ещё мои бумаги, вырезки, письма друзей... На всю зиму покинул сокровища! Берегут мою хату, в молчаливой келье с четырьмя окошками невсхожими зёрнами дожидаются тёплого взгляда моего. Жизнь во всём! Рососо нашей уши окропляются и вещи, и цинковые буквы. Не спать До полуночи, с неохотой ложиться и в темноте переворачиваться с боку на бок, потом в третьем часу безнадежно устать и выбрать книгу... Сколько ночей я провёл так! Ну что ж, до весны! Что-то будет.

...И на волосяных ножках камыш у дороги, и маслиничный лох, и дым из трубы на обочине станицы Голубицкой, и впереди утекающей налево дороги морская дуга, с какой-то зимней усталостью дожидаящаяся шумного лета, 5 Ахтанизовский лиман до горы Бориса и Глеба, и мост над гирлом - всё равнодушно явилось мне снова в конце Марта. Тяжело возвращаться к дикому одиночеству холодной трубы на крыше. Ласковый Малыш не визжал от радости за воротцами: кормился у кого-то чужого. Ветер растаскал из кучи веники по огороду. Курятничек летний пустой, дверца повалена, чашки набиты сором. Сквородка и чугунок горюют под столом, с которого снесло клеёнку. Всё тихо ропщет мне в душу, всё молчит печалью разлуки, как будто обижается на то предательство, которое легко совершает человек к вещам. Солнце белое. Колодец, полный воды, не держит на крышке ведра. Всё там, в кухне, в хате, в сарае. Я открываю сарай. Лестницы, бочка, круги проволоки, доски и нерубленые чурки брезжат в погребном сумраке. Нет хозяев! Высокая калина свернулась набок и повторяет за мной: нет! Айва упрекает меня: где же ты был? где был ты, что ты там видел хорошего в городе с газетными киосками и трамваями? Чем увлекался? Звонил дамам по телефону и просил думать о тебе перед сном? Нет? Тогда что задержало тебя так надолго?

Я не порывался поскорей войти в хату. Стоял, курил, думал обо всём. Так ведь всё, с чем породнился, кончается вдруг. Что-то безмятежное, долголетнее запечаталось от меня с прошлой осени. И это так злополучно совпало с утратой всего дорогого в России. Ехал по степи, всё вроде бы то же, а душа моя сгорбилась. Вдруг подумал за Анастасиевской: как свято, терпеливо молчит земля! Всех принимает и провожает.

В сенях пахло мышами. И такая из каждого угла и с лавки поднималась сиротская скорбь, что не передать. В ведре под фанерной крышкой мерцала чистая вода. Какой в ней был покой! Я нагнул и поймал губами холодный покров - словно поцеловал...